

Глава XXVII

Воспоминания о жизни с Эдом наполнили душу тоской по тому, что принадлежало мне, но было отнято. Мысли о прошлом заставили заглянуть в сокровенные глубины своего сердца; странные противоречия разрывали меня между жадной любви и неспособностью наслаждаться ей слишком долго. Не только необратимость смерти, как в случае с Эдом, и не одни обстоятельства, что разлучили нас с Сашей на заре нашей жизни, были препятствием. Постоянству любви мешали и другие силы. Была ли то ненасытная жажда страсти, которую полностью не мог удовлетворить ни один мужчина, или свойство природы, присущее тому, кто вечно стремится вперёд, к возвышенным идеалам, поглощающим всё существо? Не кроется ли цена расплаты в самой природе цели, которую я хотела достичь? Увязшему в земле не дотянуться до звёзд. А взлетев высоко, можно ли надеяться остаться надолго в плену любви и страсти? Как каждый, кто пострадал за свою веру, я должна смириться с неизбежным. Любовь по случаю, урывками — ничего вечного в моей жизни, кроме идеала.

Егор жил в моей квартире, пока я сопровождала своего пациента и его мать в Либерти, штат Нью-Йорк. Прежде я никогда не ухаживала за туберкулёзными больными и не наблюдала присущую им несгибаемую волю к жизни и то всепоглощающее пламя, что разгорается в их измождённой плоти. В момент, когда, казалось бы, конец уже близок, мой пациент делал новый рывок, за которым следовали дни, полные надежды на будущее и борьбы, что истощила бы даже сильнеешего человека. И вот мальчик восемнадцати лет, кожа да кости, с горящими глазами и пылающими щеками рассуждает о жизни, которую ему, быть может, не дано прожить.

С воскрешением жизненных сил возвращался и зов плоти, обострялось сексуальное влечение. Я провела почти четыре месяца рядом, прежде чем поняла, что этот юноша так отчаянно пытался подавить в себе. Мне и в голову не приходило, что моё присутствие подливает масла в тлеющий в нём огонь. Несколько случаев вызвали у меня подозрения, но я списала их на проявления лихорадочного состояния пациента. Однажды я измеряла ему пульс, и юноша порывисто схватил мою руку, страстно сжав её. В другой раз я наклонилась поправить одеяло и почувствовала горячее дыхание мальчика на своей шее. Часто я замечала, как его огромные горящие глаза следят за мной.

Пациент спал на свежем воздухе, на застеклённой веранде. Чтобы быть на подхвате, по ночам я оставалась в смежной комнате. Часть дня с юношей проводила его мать, чтобы я могла немного отдохнуть. Её спальня находилась за столовой, далеко от веранды. Туберкулёзный больной требовал от меня больше заботы, чем все, кого я выхаживала прежде, но годы опыта приучили меня реагировать на малейшее движение пациента. Мальчику почти не приходилось использовать колокольчик, что стоял на столе — я откликалась, стоило больному пошевелиться.

Как-то ночью я несколько раз зашла проведать пациента, пока не обнаружила его мирно спящим; смертельно уставшая, я тоже отправилась в постель. Проснувшись я от чьего-то прикосновения. Я обнаружила пациента сидящим у меня на кровати, его горячие губы прильнули к моей груди, а дрожащие руки ласкали моё тело. Гнев заставил меня забыть о его уязвимом состоянии. Я оттолкнула юношу и вскочила с кровати. «Да вы с ума сошли! — закричала я. — Отправляйтесь в постель немедленно, иначе я позову вашу мать!» Он протянул руки в безмолвной мольбе и попятился к веранде. На полпути юноша упал, сотрясаемый приступом кашля. Напуганная своим возмущением, я на мгновение растерялась, не зная, что предпринять. Я не решалась позвать его мать: увидев сына в моей комнате, она могла подумать, что я не услышала его зова. Но не могла же я бросить его там. Весил он мало, да и отчаяние добавляет сил. Я подняла пациента и отнесла в постель. Его возбуждение вызвало новое кровотечение, и мой гнев сменился на жалость к бедному мальчику, что был так близок к смерти и так отчаянно цеплялся за жизнь.

Пока продолжался приступ, юноша держал меня за руку, между судорогами кашля он умолял меня пожалеть его мать и простить за то, что он сделал. Я же размышляла о том, как бы мне отказаться от этой работы. Было очевидно, что я должна уйти. Но под каким предлогом? Я не могла сказать его матери правду; она не поверит, что её сын способен на такое, а, если даже и поверит, будет слишком шокирована и задета, чтобы правильно понять природу его побуждений. Придётся сказать, что я вымотана непрерывной работой и нуждаюсь в отдыхе; и конечно, я подожду, пока она не найдёт мне замену. Но прошла не одна неделя, прежде чем я смогла осуществить свой план. Мой пациент был очень плох, а здоровье его матери было подорвано постоянными переживаниями. Когда наконец пациент, преодолев злой рок, пошёл на поправку, я взмолилась, чтобы меня отпустили.

По возвращении в Нью-Йорк выяснилось, что мне снова придётся искать жильё: мои соседи в очередной раз отказывались находиться в одном доме с Эммой Гольдман. Я переехала в квартиру побольше, вместе со мной поселились брат Егор и наш юный товарищ Альберт Зибелин. В натуре Альберта сочетались различные черты: его отец, активный анархист, был французом, а мать, женщина с очень приятным характером, — американской квакершей. Альберт родился в Мексике, где ребёнком вольно гулял по холмам. Позже он жил с Элизе Реклю, знаменитым французским учёным, представителем анархизма. Прекрасная наследственность и благотворное влияние в ранние годы произвели на Альберта чудесное воздействие: он был прекрасен телом и душой. Он превратился в рьяного приверженца свободы и стал чутким и внимательным другом, да и вообще был редким персонажем среди всех знакомых мне американских парней.

На этот раз наше совместное предприятие начиналось многообещающе. Было меньше слов о равной ответственности и больше усилий облегчить тяготы других. Всё складывалось вдвойне удачно для меня, ведь участие в движении требовало всё больше энергии. Альберт готовил, Егор и навещающий нас Дэн помогали по хозяйству, и мне удавалось уделять больше времени своим общественным интересам, которые разделяли и мальчики.

С тех пор как я начала писать Саше, мы с ним снова сблизились. Ему оставалось продержаться чуть меньше трёх лет, и он был полон надежд, планировал, что будет делать после освобождения. Уже долгое время он участвовал в судьбе одного из своих тюремных

друзей, чахоточного парня по имени Гарри. Саша упоминал его в каждом письме, особенно в тот период, когда я выхаживала своего туберкулёзного пациента. Я должна была рассказывать ему обо всех методах лечения и процедурах, которые применяла. Случай Гарри внушил Саше идею, что ему стоит изучать медицину после выхода из тюрьмы. А пока он просил присылать ему всё, что только было возможно: медицинские книги, журналы и прочее, что касалось туберкулёза лёгких.

Сашины письма были словно свежий ветер, который врывается в мою жизнь, уносит меня прочь и наполняет растущим восхищением. Я тоже предалась мечтам и планам, представляя тот прекрасный момент, когда мой героический мальчик снова будет свободен, и мы воссоединимся, чтобы жить и трудиться. Ещё каких-то тридцать три месяца, и эти мучения закончатся!

Тем временем Джон Тернер анонсировал свой визит в Штаты. Он приезжал в Америку в 1896 году и в течение семи месяцев активно читал лекции. Теперь он запланировал новый тур и намеревался особо тщательно изучить жизнь и условия труда мужчин и женщин, работавших продавцами и клерками в магазинах США. Джон добился больших успехов в Англии, превратив профсоюз продавцов во влиятельную организацию. Под руководством Тернера, профсоюз смог значительно улучшить условия труда для рабочих в этой отрасли. Хотя положение данного класса рабочих в Америке не было столь плачевным, как в Англии до начала деятельности Тернера и профсоюза, мы были уверены, что этим людям также необходимо пробуждение самосознания. И с этой задачей вряд ли кто-то мог справиться лучше Джона Тернера.

Учитывая всё это и тот вклад, который Тернер мог внести в распространение наших идей, мы поддержали его намерение приехать и тут же занялись организацией серии лекций для нашего блистательного английского товарища. Его первый митинг мы назначили на 22 октября в лицее на Марри-Хилл.

Как и многие другие, Джон Тернер пришёл к анархизму после трагедии на Хеймаркет-сквер в 1887 году. Из-за своего отношения к государству и политической активности он отказался от предложения выдвигаться в парламент от профсоюза. «Моё место среди рядовых, — заявил тогда Тернер. — Моя работа — это не так называемые „общественные инициативы“, которые на деле являются лишь частью организованной эксплуатации труда. Даже тех полумер, которых можно добиться через парламент, организованное рабочее движение может достичь прямым давлением снизу быстрее, чем представительством в палате общин». Позиция Тернера свидетельствовала о его понимании общественных сил и преданности идеалам. Продолжая работать на благо анархизма, главным делом своей жизни он всё же считал профсоюзную борьбу. Тернер полагал, что анархизм без опоры на массы обречён остаться не более, чем мечтой, лишённой жизненной силы. По его мнению, достучаться до трудящихся можно было только участвуя в их насущной экономической борьбе.

Темой вступительной речи Тернера была «Профсоюзы и всеобщая забастовка». Лицей на Марри-Хилл был до отказа набит людьми из всех слоёв общества. За порядком следила толпа полицейских. Я представила аудитории нашего британского товарища и прошла в

конец зала присматривать за нашей литературой. Когда Джон закончил говорить, я заметила нескольких человек в штатском, направлявшихся к сцене. Почуввав неладное, я поспешила к Джону. Незнакомцы оказались сотрудниками иммиграционного отдела, они заявили, что Тернер арестован. Прежде чем публика успела понять, что происходит, его вывели из зала.

Тернеру посчастливилось стать первым человеком, попавшим под действие Федерального антианархистского закона, принятого Конгрессом 3 марта 1903 года. Его основная часть гласила: «Ни один человек, который не верит в любые организованные формы правления, или выступает против них, или является членом или приверженцем любой организации, - поддерживающей или пропагандирующей подобное неверие или оппозицию всем органам власти <...> не должен получить разрешение на въезд в Соединённые Штаты». Джон Тернер, хорошо известный в своей стране, уважаемый думающими людьми и имеющий право посещать любую европейскую страну, теперь преследуется по закону, принятому в панике с подачи самых тёмных сил, действующих в Соединённых Штатах. Когда я объявила публике, что Джона Тернера арестовали и собираются депортировать, митинг единогласно решил, что если нашему другу и придётся уехать, то не без боя.

Власти острова Эллис думали, что они смогут поступать, как им заблагорассудится. Несколько дней никого, даже адвоката, не допускали к Тернеру. Хью Пентекост, которого мы подрядили представлять заключённого, сразу же начал процедуру хабеас корпус5. Это задержало депортацию и инициировало проверку действий комиссариата острова Эллис. На первом слушании судья, конечно же, поддержал иммиграционные власти, постановив депортировать Тернера. Но у нас в запасе была ещё апелляция в Федеральный Верховный суд. Большинство наших товарищей выступали против такого шага, считая его противоречащим нашим идеям, к тому же напрасной тратой денег, которая результатов не принесёт. Хотя у меня не было иллюзий по поводу вероятного решения Верховного суда, я считала, что борьба за Тернера станет прекрасной пропагандой, которая привлечёт внимание интеллигенции к абсурдному закону. И не в последнюю очередь это поможет открыть глаза многим американцам на то, что свободы, гарантированные в Соединённых Штатах, среди которых право на убежище было самым важным, превратились в пустые фразы, которые теперь можно использовать разве что как хлопушки на 4 июля. Однако главным вопросом было, захочет ли Тернер оставаться в заключении на острове Эллис, возможно, несколько месяцев, пока Верховный суд не рассмотрит его дело. Я написала ему об этом и мгновенно получила ответ: «Я наслаждаюсь гостеприимностью острова Эллис». Также Тернер сообщал, что, если мы намерены бороться, то он в нашем полном распоряжении.

Хотя с 1901 года общественное мнение относительно меня значительно изменилось, для большинства я всё ещё была персоной нон грата. Я поняла, что если хочу помочь Тернеру и бороться против закона о депортации, мне лучше оставаться в тени. Под псевдонимом Смит я могла рассчитывать на благосклонное внимание людей, которые не стали бы слушать Эмму Гольдман. Впрочем, множество американских радикалов знали меня и были достаточно прогрессивны, чтобы не бояться моих убеждений. С их помощью мне удалось организовать постоянно действующую Лигу за свободу слова, члены которой происходили из различных либеральных секций. Среди них были Питер Берроуз, Бенджамин Такер,

Гейлорд Уилшир, доктор Эдвард Фут-младший, Теодор Шрёдер, Чарльз Шпар и многие другие известные в прогрессивных кругах люди. На первом заседании Лига решила, что в Верховном суде Тернера будет представлять Клэрэнс Дэрроу.

Следующим нашим шагом стала организация митинга в Купер Юнион. Члены Лиги за свободу слова слыли опытными профессионалами в своих областях и, как правило, были очень заняты. Так что разрабатывать предложения и руководить процессом поручили мне, как и досаждают людям, пока они не пообещают свою поддержку. Я прошлась по различным союзам и насобирала 1600 долларов. Сложнее всего было убедить Яновского, редактора Freie Arbeiter Stimme, который с самого начала был против колонки с нашими публикациями в его в газете. Со временем мне удалось вовлечь в процесс других людей, наиболее активными из которых были Болтон Холл и его секретарь, Плейделл, неумолимо работавших в интересах дела.

Болтон Холл, с которым я познакомилась несколько лет назад, был наиболее очаровательным и грациозным человеком из всех, кого мне посчастливилось знать. Бескомпромиссный либертариан и сторонник единого налога, Болтон полностью дистанцировался от своего respectable происхождения, которое выдавал лишь его щегольской гардероб. Сюртук, цилиндр, перчатки и трость делали Холла заметной фигурой в наших рядах, особенно когда он посещал профсоюзы по делу Тернера или выступал перед Союзом американских докеров, где был организатором и казначеем. Но Болтон знал, что делает. Он утверждал, что ничто так не впечатляет рабочих, как его модный наряд. На мои упрёки он отвечал: «Разве ты не видишь, что именно цилиндр придаёт моей речи такую важность?»

Митинг в Купер Юнион прошёл с огромным успехом, среди ораторов были представители всего спектра политических течений. Некоторые извинялись за то, что пришли выступить в поддержку анархиста; например, члены Конгресса и преподаватели колледжей не могли быть настолько откровенными, насколько им хотелось бы. Однако по-настоящему тон митингу задали те, кто высказывался более смело. Среди них были Болтон Холл, Эрнест Кросби и Александр Йонас. Были зачитаны письма и телеграммы от Уильяма Ллойда Гаррисона, Эдварда Шепарда, Горация Уайта, Карла Шурца и преподобного доктора Томаса Холла. Они безоговорочно осуждали возмутительный закон, посредством которого Вашингтон покушался на фундаментальные принципы, гарантированные Декларацией независимости и Конституцией Соединённых Штатов.

Я сидела в зале очень довольная результатами наших усилий, и меня забавляло думать, что большинство этих порядочных людей на сцене и не догадываются, что митинг организовали Эмма Гольдман и её товарищи-анархисты. Несомненно, кое-кто из этих respectable либералов, сопровождавших каждый смелый шаг извинениями, был бы шокирован, знай они, что «анархисты с дикими глазами» имели отношение к этому делу. Но я была закоренелой грешницей, я не чувствовала никаких угрызений совести за то, что приняла участие в аванюре, побудившей этих робких джентльменов высказаться по столь насущному вопросу.

В разгар кампании меня вызвал доктор Эдвард Фут. Я несколько раз пыталась получить у него работу, но даже будучи видным вольнодумцем, он избегал нанимать опасную Эмму Гольдман. Во время апелляции Тернера мы хорошо общались, и это, возможно, изменило его мнение. В любом случае он послал за мной, чтобы я занялась одним из его пациентов, и вечер накануне нового 1904 года я провела у постели мужчины, которого мне перепоручили. Ликование на улицах в полночь напомнило мне о прекрасном дне год назад, который я провела с Максом, Милли и Эдом.

Необходимость то и дело переезжать вошла у меня в привычку, и я больше не переживала на этот счёт. Теперь я снимала часть квартиры по 13-й Восточной улице, 210; моими соседями были Александр Горр с женой, мои друзья. Я собиралась в турне. Егор работал за городом, а Альберт уезжал во Францию, и я была рада, что Горры предложили пожить с ними. Я и не думала, что останусь там на десять лет.

Лига за свободу слова попросила меня посетить ряд городов под эгидой кампании Джона Тернера. Ещё я получила два приглашения: одно от работников швейной промышленности Рочестера, другое — от шахтёров Пенсильвании. У портных Рочестера были проблемы с некоторыми швейными предприятиями, в их числе — с фирмой «Гарсон и Майер». Любопытно, что меня пригласили выступить перед наёмными рабами человека, который когда-то эксплуатировал мой труд за два с половиной доллара в неделю. Я с радостью воспользовалась этим шансом, чтобы заодно навестить семью.

В последние годы меня всё больше тянуло к родным, и Елена была для меня всех ближе. Я останавливалась у неё, когда приезжала в Рочестер, и родители научились принимать это как должное. На этот раз мой визит стал поводом для общего семейного сбора. Это позволило мне как следует пообщаться с моим братом Германом и его очаровательной юной супругой Рейчел. Я узнала, что парень, который был не особо силен в учёбе, теперь стал экспертом в механике и специализировался на производстве сложных машин. День близился к концу, родственники разошлись, а я осталась с моей милой Еленой. Как обычно, нам было о чем поговорить, и мы разошлись только под утро. Сестра пожалела меня и предложила поспать подольше.

Я едва задремала, как меня разбудил посыльный с письмом. Взглянув на послание спросонья, я с удивлением обнаружила, что оно подписано «Гарсон». Я перечитала несколько раз, чтобы убедиться, что не сплю. Он писал, что очень горд, что дочь его народа и города добилась всенародной известности, он рад видеть меня в Рочестере и счёл бы за честь принять в своём кабинете в ближайшее время.

Я протянула письмо Елене. «Прочти, — сказала я, — смотри, какой важной стала твоя сестрёнка». Пробежав письмо глазами, она спросила: «Ну, и что собираешься делать?» Я написала на обратной стороне письма: «Мистер Гарсон, я приходила к вам, когда вы мне были нужны. Теперь, когда я, похоже, нужна вам, приходите сами». Сестра волновалась о последствиях. Чего ему нужно, что я ему скажу, что буду делать? Я её заверила, что нетрудно догадаться, чего хочет мистер Гарсон. Но я намерена заставить его сказать мне это лично и в её присутствии. Я встречу с Гарсоном в её магазине и обойдусь с ним «как подобает леди».

Мистер Гарсон прибыл в своём экипаже после обеда. Я не видела своего бывшего начальника восемнадцать лет, и всё это время едва ли думала о нём. И всё же в минуту, когда он вошёл, все жуткие месяцы, проведённые в его мастерской, ясно предстали передо мной в мельчайших деталях, будто всё это было вчера. Я снова видела мастерскую и его роскошный офис, розы на столе, сизый дым его сигары, причудливо извивавшийся в воздухе, и себя, с трепетом ждавшую, пока мистер Гарсон обратит на меня внимание. Я видела всё это как наяву и слышала его резкий голос: «Чем обязан?» Я вспомнила всё до последней мелочи, взглянув на старика, стоящего передо мной с цилиндром в руке. Мысли о несправедливости и унижении, которые претерпевают его рабочие, их забитое изнурительное существование будоражили меня. Я едва удержалась от порыва выставить гостя за дверь. Я не смогла бы предложить мистеру Гарсону присесть, даже если бы от этого зависела моя жизнь. Стул ему предложила Елена, а ведь восемнадцать лет назад он не сделал для меня и этого.

Он сел и взглянул на меня, очевидно ожидая, что я заговорю первой. «Ну, мистер Гарсон, чем обязана?» — наконец спросила я. Это выражение, должно быть, что-то всколыхнуло в его в памяти, он казался сконфуженным. «Да ничего особенного, дорогая мисс Гольдман, — ответил он. — Просто зашёл поболтать». «Прекрасно», — отозвалась я и выжидающе замолчала. Он поведал, что тяжело работал всю свою жизнь, «прямо как ваш отец, мисс Гольдман». Он откладывал каждый пенни и, наконец, скопил некоторую сумму. «Вы, должно быть, не знаете, как тяжело копить деньги, — продолжал он, — но вот, например, ваш отец. Он усердный работник, честный человек, и таким его знает весь город. Нет в Рочестере жителя более уважаемого и влиятельного, чем ваш отец».

«Минуточку, мистер Гарсон, — перебила я, — вы кое-что упускаете. Вы забыли упомянуть, что скопили состояние благодаря другим людям. Вы смогли откладывать каждый пенни, потому что вам помогли мужчины и женщины, работавшие на вас».

«Да, конечно, — сказал он извиняющимся тоном, — у нас были „рабочие руки“ на фабрике, но все они неплохо жили». — «А они смогли открыть фабрики, откладывая каждый пенни?»

Не смогли, признал он, но всё потому, что были транжирами и невеждами. «Вы имеете в виду, они были честными рабочими, как мой отец, не так ли? — продолжала я. — Вы так расхваливали моего отца, что, очевидно, не станете называть его транжирой. Но хотя он вкалывал всю свою жизнь, как раб на галерах, он ничего не скопил и фабрику не открыл. Почему, как вы считаете, мой отец и другие так и остались бедняками, а вы процветаете? Всё потому, что им не хватило смекалки добавить к своим ножницам ножницы десятков других людей, или сотен, или нескольких сотен, как это сделали вы. Откладывая каждый пенни, не станешь богатым — труд „рабочих рук“ и их беспощадная эксплуатация создали ваше богатство. Восемнадцать лет назад моё невежество было простительно, когда я стояла, как попрошайка, перед вами, прося поднять мне зарплату на полтора доллара. А вот вам оправдания нет, мистер Гарсон — только не сейчас, когда повсеместно рассказывается истина об отношениях труда и капитала».

Он сидел, уставившись на меня. «Кто бы мог подумать, что девчушка из моей мастерской станет таким прекрасным оратором?» — произнёс он наконец. «Уж точно не вы! — ответила

я. — И не она, если бы всё вышло по-вашему. Но давайте вернёмся к приглашению в ваш офис. Что вам угодно?»

Он начал говорить о правах трудящихся; он признавал профсоюз и его требования (разумные или нет) и ввёл множество улучшений в своей мастерской в интересах рабочих. Но времена были тяжёлые, и он много потерял. Если бы только ворчуны среди его сотрудников прислушались к доводам разума, немного потерпели и пошли на взаимные уступки, всё можно было бы решить полюбовно. «Можете ли вы это озвучить в вашей речи, — предложил он, — и побудить их учесть мои интересы? Мы с вашим отцом большие друзья, мисс Гольдман, я сделал бы для него всё, попади он в беду, — одолжил бы денег или как-то ещё помог. Что касается его замечательной дочери, я уже написал вам, как я горд, что вы дочь моего народа. Я бы хотел доказать это маленьким подарком. Ну, мисс Гольдман, вы женщина, вы, должно быть, любите красивые вещи. Скажите, что вы больше всего любите?»

Его слова не разозлили меня. Возможно потому, что я ожидала подобного предложения после его письма. Моя бедная сестра наблюдала за мной грустными беспокойными глазами. Я молча поднялась со стула; Гарсон встал тоже, и мы стояли друг перед другом; на его морщинистом лице застыла старческая улыбка.

«Вы пришли не к тому человеку, мистер Гарсон, — сказала я. — Нельзя купить Эмму Гольдман».

«Кто говорит о подкупе?! — воскликнул он. — Вы ошибаетесь, позвольте объяснить».

«В этом нет надобности, — перебила я. — Все необходимые объяснения я дам сегодня вашим рабочими, которые пригласили меня выступить. Больше нам не о чём говорить. Пожалуйста, уходите».

Он попятился к выходу, держа цилиндр в руках. Елена проводила его до двери.

По зрелом размышлении я решила не упоминать о его предложении на собрании. Я посчитала, что это может отвлечь внимание от главного вопроса, зарплатного конфликта, и, возможно, повлиять на шансы его разрешения в пользу рабочих. Более того, я не хотела, чтобы рочестерские газеты заполучили эту историю; слишком уж много зерна для их скандальных мельниц. Но я поведала рабочим об авантюрной попытке Гарсона рассуждать о политической экономии, пересказав его версию происхождения его богатства. Это весьма позабавило публику, что стало единственным итогом визита Гарсона.

Во время моего короткого пребывания в Рочестере я встретила ещё одной собеседницей, куда интереснее мистера Гарсона: журналисткой, которая представилась как мисс Т. Она пришла взять у меня интервью, но задержалась, чтобы поведать замечательную историю, которая касалась Леона Чолгоша.

В 1901 году журналистка сотрудничала с одной из ежедневных газет в Буффало, и её направили в Выставочный центр освещать визит президента. Мисс Т. стояла рядом с Мак-Кинли и наблюдала за людьми, выстроившимися пожать ему руку. В этой процессии она заметила молодого человека, его рука была обернута белым платком. Поравнявшись с

президентом, он поднял револьвер и выстрелил. Началась паника, толпа бросилась врассыпную. Стоявшие рядом подхватили раненого Мак-Кинли и отнесли его в Зал заседаний, прочие набросились на нападавшего и начали его избивать, повалив на пол. Внезапно раздался вопль ужаса. Кричал лежащий на полу парень. Дородный негр навалился на него, пытаясь выдавить ему глаза пальцами. Эта мрачная сцена повергла мисс Т. в ужас. Она поспешила в редакцию, чтобы написать репортаж.

Прочтя её материал, редактор сообщил, что пассаж о негре, выдавливающем Чолгошу глаза, придётся выкинуть. «Не то чтобы этот анархистский пёс такого не заслужил, — заметил он. — Я бы и сам так поступил. Но мы должны вызвать у наших читателей сочувствие к президенту, а не к его убийце».

Мисс Т. не была анархисткой, в действительности она ничего не знала о наших идеях и была против человека, напавшего на Мак-Кинли. Но сцена, свидетельницей которой она стала, и жестокость редактора смягчили её отношение к Чолгошу. Мисс Т. неоднократно пыталась получить разрешение на интервью с ним в тюрьме, но безуспешно. От других репортёров она узнала, что Чолгоша сильно били и пытали, и его нельзя было навещать. Он болел, и все опасались, что он не доживёт до суда. Спустя какое-то время мисс Т. поручили освещать судебный процесс.

Суд охраняли вооружённые до зубов стражи порядка; зал был полон зевак, в основном хорошо одетых женщин. Атмосфера была наэлектризована, глаза присутствующих были прикованы к двери, в которую должен был войти заключённый. Вдруг по толпе прокатилось волнение. Дверь широко распахнулась, и в комнату чуть ли не внесли молодого человека, поддерживаемого полицейским. Он был бледен и выглядел измождённым; голова его была перевязана, лицо распухло. Зрелище было отталкивающим, пока вы вдруг не встречались с арестованным взглядом — с его большими, тоскливыми глазами, блуждавшими по залу, напряжённо выискивая кого-то, вероятно, чье-нибудь знакомое лицо. Затем они потеряли свою сосредоточенность, засияв, словно озарённые каким-то внутренним видением. «Глаза мечтателя или пророка, — продолжала мисс Т. — Мне было стыдно при мысли, что я не осмелилась крикнуть ему, что он не одинок, что я его друг. Ещё много дней эти глаза преследовали меня. Два года я не могла и приблизиться к редакции; даже сейчас я работаю только внештатно. Как только я думаю о постоянной работе, которая может принести подобный опыт, я вижу эти глаза. Я всегда хотела с вами встретиться, — добавила она, — чтобы рассказать вам эту историю».

Я сжала её руку, слишком потрясённая, чтобы говорить. Справившись с эмоциями, я сказала, что хотелось бы мне верить, что Леон Чолгош осознавал, что в этом зале, полном голодных волков, подле него была хотя бы одна родственная душа. То, что рассказала мне мисс Т., подтвердило всё, о чём я догадывалась и что узнала о Леоне в 1902 году по приезде в Кливленд. Я разыскала его родителей; они были тёмными людьми: отец, ожесточённый тяжёлым трудом, мачеха с тупым, бессмысленным взглядом. Мать Леона умерла, когда он был младенцем. В шесть лет его отправили на улицу чистить обувь и продавать газеты. Если он не приносил домой достаточно денег, его наказывали и лишали еды. Убогое детство сделало Чолгоша робким и застенчивым. В двенадцать лет он начал работать на фабрике. Он вырос молчаливым подростком, замкнутым и поглощённым книгами. Дома его называли

«слабоумным», в мастерской считали странным и «высокомерным». Одна лишь сестра была добра к нему, робкая, трудолюбивая девушка. Когда я встретила с ней, она рассказала, что однажды была в Буффало, виделась с Леоном в тюрьме, но он попросил её больше не приезжать. «Он знал, как я бедна, — сказала она, — нашу семью донимали соседи, отца уволили с работы. Так что больше я не приезжала», — повторила она, плача.

Возможно, это было лучшим, что бедное создание могло дать мальчику, который читал странные книги, предавался странным мечтам, совершил странный поступок и даже перед лицом смерти оставался странным. Неординарных людей, визионеров всегда считали странными; и всё же часто они оказывались наиболее здравомыслящими существами в этом безумном мире.

Положение шахтёров Пенсильвании с момента «урегулирования» забастовки стало ещё хуже, чем в 1897 году, когда я посещала этот регион. Я застала людей ещё более подавленными и бессильными. Только наши товарищи сохраняли боевой дух и были настроены даже более решительно после того, как забастовка потерпела позорное поражение из-за предательства профсоюзных лидеров. Шахтёры работали неполный день, едва сводя концы с концами, и всё же каким-то образом умудрялись вносить свой вклад в пропаганду. Свидетельство подобной преданности нашему делу очень воодушевляло.

Стоит упомянуть два примечательных случая из моей поездки. Один произошёл на шахте, другой — в гостях у одного из рабочих. Как и в предыдущие поездки, меня отвели на рудники, чтобы я пообщалась с рабочими одной из шахт во время обеденного перерыва. Десятник отлучился, и шахтёры жаждали послушать меня. Я сидела в окружении чёрных лиц. Пока я говорила, мой взгляд выхватил из толпы две фигуры, прижавшиеся друг к другу, — высохшего от старости мужчину и ребёнка. Я поинтересовалась, кто они. «Это Дедушка Джонс, — сказали мне, — ему девяносто, он проработал в шахтах семьдесят лет. Этот мальчик — его правнук. Он говорит, что ему четырнадцать, но мы знаем, что ему только восемь». Мой товарищ сообщил об этом как о должном. Девяностолетний старик и восьмилетний ребёнок, работающие по десять часов в день в чёрной яме!

После первой встречи один из шахтёров пригласил меня остановиться у него на ночь. В маленькой комнате, где меня разместили, уже было трое обитателей: двое детей на узкой кровати и юная девушка на раскладушке. Мне предстояло спать вместе с ней. Родители с новорождённой дочерью разместились в соседней комнате. В горле у меня пересохло; спёртый воздух вызвал кашель. Женщина предложила мне стакан горячего молока. Я устала и хотела спать; ночь была непростой из-за храпа мужчины, жалобного плача младенца и монотонных шагов матери, старавшейся успокоить ребёнка.

Утром я расспросила о ребёнке. Была ли девочка больна или голодна, раз так много плакала? Мать объяснила, что молока у неё было мало, малышку подкармливали из бутылочки. Ужасная догадка осенила меня. «Ты отдала мне молоко ребёнка!» — воскликнула я. Женщина отнекивалась, но по её глазам я поняла, что угадала. «Как ты могла такое сделать?» — укоряла я её. «Малышка выпила бутылочку вечером, а вы выглядели усталой и кашляли. Что мне ещё оставалось?» — сказала она. Меня жёг стыд, я не могла поверить, какое доброе сердце скрывалось за этой бедностью, под этими

лохмотьями.

По возвращении в Нью-Йорк из своего короткого турне я получила письмо от доктора Хоффмана, который снова вызвал меня выхаживать миссис Спенсер. Я могла согласиться только на дневную смену: по вечерам я была занята кампанией Тернера. Пациентка согласилась на эти условия, но несколько недель спустя стала уговаривать меня оставаться с ней на ночь. Она стала для меня больше, чем просто пациенткой, но её окружение было отвратительным. Одно дело было знать, что она зарабатывает содержанием борделя, совсем другое — работать в таком доме. Разумеется, теперь бизнес моей пациентки был прикрыт респектабельной вывеской «отеля Райнса»⁶. Как и всякая инициатива, призванная искоренить порок, закон Райнса только приумножил то, что намеревался упразднить. Он освобождал владельцев от ответственности за обитательниц и увеличивал доходы сводников. Клиентам больше не нужно было приходить к миссис Спенсер. Теперь девушки должны были приставать к мужчинам на улице. В дождь или холод, больные или здоровые, эти несчастные вынуждены были суетиться ради денег, готовые принять любого, кто соглашался с ними пойти, каким бы дряхлым или отвратительным он ни был. Более того, им приходилось терпеть преследования полиции и платить взятки в участке, чтобы получить право «работать» в определённых кварталах. У каждого района была своя цена в зависимости от суммы, которую девушки были способны выручить у мужчин. Бродвей, например, закономерно стоил дороже, чем Бауэри. Полицейский на дежурстве следил за тем, чтобы на его участке не было никакой несанкционированной конкуренции. Любую девушку, которая смела нарушить границы чужой территории, брали под арест и часто отправляли в работный дом. Естественно, работницы держались за свою территорию и сопротивлялись любому вторжению.

Новый закон также привёл к негласному соглашению между владельцами «отелей Райнса» и девушками с панели: последние получали процент с алкоголя, выпитого клиентами с их подачи. С тех пор как бордели были упразднены и девушки оказались на улице, это стало для них основным источником дохода. Они были вынуждены принимать всё, что мог предложить им мужчина, тем более что он должен был оплачивать ещё и комнату в отеле. Дабы удовлетворить все эти притязания, девушки сильно напивались, побуждая своих клиентов пить ещё больше. Видеть, как эти бедные рабыни со своими мужчинами спуют по отелю миссис Спенсер ночь напролёт, усталые, измождённые и основательно пьяные, слышать всё, что происходит, было выше моих сил. Более того, доктор Хоффман сообщил, что надежд на окончательное выздоровление нашей пациентки нет. Постоянное употребление наркотиков сломало её волю и ослабило иммунитет. Не имеет значения, удастся ли нам отвадить её от препаратов, она будет возвращаться к ним снова и снова. Я сообщила своей пациентке, что мне придётся уволиться. Она впала в ярость, горько меня ругая, и напоследок заявила, что, коли я не могу быть рядом, когда ей нужно, будет лучше, если я уйду совсем.

Мне нужны были все мои силы для общественной работы, среди которой кампания в защиту Джона Тернера была наиболее важной. Пока его апелляция ждала рассмотрения, адвокатам удалось вытащить нашего товарища под залог в пять тысяч долларов. Он тут же отправился в турне, посетив множество городов, читая лекции при полных аншлагах. Если бы Тернер не находился под арестом и ему не угрожала депортация, он смог бы обратиться только к

